



Повествовательная проза

ВЛАДИМИР ВАРАВА
Философ, писатель

Родился в 1967 году в городе Воронеже. Окончил Воронежский государственный педагогический университет. Доктор философских наук, профессор факультета философии и психологии Воронежского государственного университета. Автор книг: «На путях к Смыслу» (1999), «Горизонты русского Бытия» (2001), «Этика исчезающей Благодати» (2003), «Этика неприятия смерти» (2005) (сербский перевод 2010), «Псалтирь русского философа» (2006), «Вечная философия» (2007), «Живущих и ушедших встретить» (2007), «Пылинки» (2010), «Идолы смерти в современной культуре» (2011). Член Союза писателей России.



Архэ удивления

Я долго стоял... и старался понять,
что такое закат солнца, и не мог понять...

Андреев Л. «Дневник Сатаны»

Мы всегда погружены в нудительную и тягостную проблематику по поводу каких-то «важных», «глобальных» и «актуальных» вопросов. Скорость и количество поступления этих вопросов опережает элементарную способность вообще осмыслить хоть что-то. И мы совсем не замечаем, что до всяких вопросов о сущности мира, о его происхождении и свойствах, до всяких теорий, возникших по поводу мира, важен вопрос о самом мире, точнее — вопрос о бытии. Здесь самый далёкий от истины вопрос — это вопрос о том, «что первично?» Материя или дух? Материализм или идеализм?

Этот вопрос не имеет ровно никакого отношения к философии. Более того, этот вопрос не имеет никакого отношения ни к какой честной и глубокой мысли. Этот вопрос предполагает, что задающий его уже каким-то никому неведомым образом проник в тайну сущего, понял «причину» существования мира, что он уже знает о мире всё, кроме самой малости — что первично. И остаётся только подобрать систему аргументации и дока-

зять искомое. Так в принципе работает мышление, называемое обыденным, и культура, основанная на таком мышления. Оно имеет большое распространение; но всегда важно увидеть, чем озабочено «обыденное большинство».

Что может открыться чистому взгляду, не обременённому предрассудками и недомыслиями обыденного восприятия? То, что первичен мир. Мир как таковой. Мир и есть первичное, ибо мир *есть*. Тем или иным образом, с теми или иными свойствами, но *уже* есть.

Какие вопросы философского плана можно задать существующему миру?

«Мира могло бы и не быть! А могло ли быть, чтобы не было мира?». Вот это вопрошание, а не спрашивание о первичности, есть философское отношение к миру. За явной непрактичностью и бесполезностью подобного вопрошания, от которого давно хотели избавиться люди трезвые и здоровые, то есть деловые люди, кроется нечто действительно значимое, упустить которое приравнивается к самопотере. Кроме того, большинство социальных проектов и построений, подверженных нестабильности, доставляющей множество хлопот этим деловым людям, как раз и строятся в обход этих вопросов. Предполагается, что нечто уже заранее известно и в философии нет никакой нужды. Однако когда рушатся основы «делового мира», построенного в обход и без философии, на философию и остаётся последняя надежда.

Действительно, мира могло бы и не быть. Откуда следует, что он должен быть, что он неизбежен, из каких абсолютных физических, химических, астрономических и прочих законов и закономерностей следует необходимость мира? Законы всегда определяют *свойства* уже существующего мира, но ничего не говорят о *необходимости самого мира*. Почему вообще что-то существует?

Философия, популяризирующая рефлексы обыденного сознания, и поэтому ставшая уже психологией, исходит из тезиса о естественности мира, появившегося в результате естественного действия физических законов природы. Всё естественно, закономерно, необходимо, поскольку высшие законы всё определили. Но достаточно честного взгляда на мир, чтобы признать, что никакой необходимости в том, что мир есть, — нет. Нет необходимости, но нет и случайности. Потому что случайность — это та же самая необходимость, а необходимость — та же случайность. Кто мыслит в категориях «случайности» или «необходимости», тот не мыслит вовсе.

Сущее существует, и *существование существующего* — самая простая и незаметная, но и самая безумная мысль. Мысль, не доступная никакому пониманию; мысль, ставящая под сомнение всё, буквально все человеческие знания и представления; мысль, абсурдирующая всё существующее, но с которой всё и начинается.

В основании мира находится не субстанция, но человеческое переживание. Переживание, а не понимание. Разные переживания — различные образы мира. Переживание мира как тайны рождает философию, искусство, религию; переживание мира как естественного закона рождает науку и обыденную, деловую и практическую жизнь. В ходе «исторического развития» естественная концепция побеждает, и философия остаётся единственной хранительницей тайны.

Таким образом, в основании мира лежит не материя, не дух, в основании мира лежат изумление, удивление и незнание. Сохранение удивления освобождает человека на каком-то глубинном уровне от детерминизма — научного или религиозного, не важно. Освобождает, в конечном счёте, от собственных иллюзий и предрассудков, которые парализуют не только деловую активность, но часто и психическую деятельность.

Никто никогда не приблизился к сущности мира, к тайне его происхождения. А тайна происхождения не в том, каким путём появился мир, но в том, что он вообще появился. Мог бы быть другой мир, если бы изначальный набор условий был бы иным. Это не важно, какой мир был бы в результате. Важно вообще поставить вопрос о том, какова необходимость в сущем? Поставить этот вопрос до всяких прагматических, утилитарных объяснений и мотивов, до всяческих целей и задач, до всяких теорий и гипотез, до всякой науки и культуры, религии и искусства, до всяких человеческих «да» и «нет», до всякого добра и зла, до всякого человеческого слова или молчания.

Какова необходимость существования, существования чего-либо? Случайность — не ответ, необходимость — тоже. Нет никакой необходимости, но всё есть, и всё так чудесно, и ужасно, всё так хорошо, и всё так плохо, но всё есть. И вот это немотивированное, безосновное, беспричинное появление и бытие мира и есть самая великая неразгаданная тайна, здесь самая страшная и последняя свобода человека.

Тайна в том, что нечто просто есть, что оно существует. Тайны больше в солнечном зайчике, который восхитил ребёнка, чем в научных институтах, лабораториях, обсерваториях, занимающихся «фундаментальным изучением законов мироздания».

Мира могло бы и не быть, и кто понял это, тот понял многое. Кто этого не понимает, тот погибает в лабиринте человеческого «знания», так ни к чему главному и не подойдя. Кто этого не понял, тот тонет в безднах человеческих теорий, бесконечно отдаляющих человека от изначального изумления сущим, и от той истины, которая открывается в результате этого изумления. И он вынужден совершать сделку с совестью, выдавая мнимое за главное.

Мира могло бы и не быть, и это есть самое чистое, самое светлое, самое глубокое философское чувство. И в то же время совершенно понятно, что не могло не быть мира. Он уже есть, он всегда есть. Но именно это и невозможно понять. Этому можно только удивиться. Только человек может постичь, хотя бы чуточку приблизиться к этой странной метафизике существования, к этому странному дневному свету.

Что здесь ещё скажешь? Мы пребываем удивительным образом. Вот и всё.

ЗАГАДКА И ТАЙНА

Возвращаемся в сад. За эти три дня соловьи прилетели, поют. Чёрный сад и месяц... и таинственный зов.

Пришвин М. М. Дневники

Самое распространённое заблуждение — путать тайну и загадку, делая их синонимами. Тайна — не загадка, тайна очевидна и проста, незаметна и непостижима, обыденна и банальна; тайна — бытийна. Поскольку тайна — это тайна бытия, а бытие — самое незаметное и непостижимое.

Можно часто слышать такие высказывания: «Нечто хранит свои секреты и остаётся одной из величайших загадок в мире». Это типичное выражение, клише обыденного сознания, настроенного на «жгучие тайны», в которых проявляется подмена тайны загадкой. Такие псевдотайны и есть на самом деле только лишь загадки, они держат обыденное сознание в тонусе псевдометафизического интереса. Так работает мышление, ищущее загадок в нетаинственном мире. Мир как мир никогда не представляет загадки, и проблемы для такого сознания — это данность, очевидность, естественность. Таинственно и загадочно для обыденности только «сверхъестественное». В то время как тайной является как раз незагадочный с точки зрения такого сознания мир.

Таинственное не значит загадочное. В загадке может быть много таинственного; загадку и делает загадкой наличие в ней таинственного; загадочное обладает налётом романтичности. Но тайну загадочное не делает тайной. Тайна — не романтична. Тайна — реалистична; это самый высший реализм, самый мыслимый и реальный реализм. Тайна — это «высшая реальность». Ничего нет и не может быть *реальнее тайны*, и ничего нет и не может быть *таинственнее реальности*. Таинственная реальность и есть реальная тайна.

Реальность на вершинах своей реальности, достоверности и очевидности именно таинственна и нисколько не загадочна. Загадка предполагает разгадку, тайна — нет. Тайна — это сущее, это вечный день бытия, это «высокий мрак». *Тайна абсолютна.*

Принято считать, что таинственное кроется в небытии, что суть тайны в том, что она *ещё* не выявлена, что она *ещё* не видна, что она прячется где-то в тёмных и непроявленных закромах небытия. Но тайна — это тайна бытия, а не небытия.

Выявленность тайны абсолютна. Тайна именно в том, что есть, в том, что выявлено; а чего нет — то не тайна. Невыявленное, небытийное, скрытое — есть ещё загадка, когда она будет выявлена, обнаружена, то есть разгадана, — вся её «тайна» исчезнет. Но когда исчезнет тайна загадки, то наступит обычная незагадочная тайна. Просто тайна.

Тайна смерти не в том, что «после» смерти, что будет «там» и «потом». Будет то, что будет, и будет там, где будет. Дело вовсе не в этом. Тайна смерти в том, что есть смерть. Смерть как «факт» бытия. И таинственность смерти — есть таинственность бытия.

Бытие «после» смерти не лучше, не хуже, не таинственнее бытия «до» смерти. Бытие после смерти не бóльшая тайна, чем бытие до смерти, чем просто бытие. Потому что бытие едино, и делить его на две половины — до смерти и после смерти, значит совершать не только логическую, но и онтологическую ошибку. Поэтому тайна бытия после смерти коренится в самой тайне бытия, то есть бытия и до смерти, так как бытие едино до и после смерти. *Тайна смерти и есть тайна бытия.*

Тайна — это не нечто непознанное, *ещё не известное*, ожидающееся своего узнавания и познания и поэтому не перестающее быть тайной до времени «раскрытия». Это не тайна, это просто загадка. Загадка может быть разгадана, тайна — никогда. В этом вся сущность тайны, что её таинственность абсолютна.

Загадочного много, чрезвычайно много загадочных вещей, явлений, событий, процессов. Наука всегда бьётся над «загадками природы» и разгадывает их. Так появляются законы.

Но тайна науке не подвластна, она вообще никому не подвластна, и раскрыть тайну, не уничтожив её, невозможно. Девственность тайны абсолютна. Философия стоит на страже тайны, но не в смысле того, что она создаёт и культивирует тайну, но в смысле того, что она её опознаёт и разрушает тем самым все «неистинные» способы обращения с тайной. *Тайна вообще не для познания, тайна для бытия.*

Поэтому тайна и не загадка, ибо тайна во всём, тайна — то, что есть, то, что есть всегда под рукой. А это как раз и не является тайной для людей, которые думают о тайне как о загадке. Для них тайной не может быть то, что видимо. То, что есть, что видимо, это не интересно, в этом нет секре-

та. Загадка — другое дело. Она интересна, жгуча, вызывает любопытство и удовлетворённость от разгадки. Ничего этого нет в тайне, которая не интересна, но просто таинственна.

Не то тайна, что скрыто во мраке сущего, но то, что есть. Вот это *есть* и есть самая великая тайна. Тайна в том, что вообще что-то есть. Тайна — это вечная тайна сущего, его вечная явленность, чья непостижимость равна его очевидности. Тайна есть само бытие в своей бесконечной раскрытости и проявленности многообразными образами сущего. Тайна всегда есть. Она — здесь.

Загадка — это временное погружение во мрак, в неизвестное, в сокрытое. Потайность загадки — временна и неабсолютна, её сокрытость — это временная скрытность, спрятанность.

Можно сказать, что сокрытость загадки — это количественная величина; загадочное лишь *до времени* загадочно, и *в пространстве*. Загадочность загадки — это эмпирическая спрятанность в сущем, это скрытая «вещь среди других вещей».

Во время как сокрытость тайны — величина качественная; это значит, что сокрытость тайны — не в одном из видов сущего, не среди вещей, расположившихся во времени и пространстве и просто ждущих своего часа для раскрытия. Но это абсолютное качество самого бытия *быть скрытым* навечно. Сокрытость бытия и есть его абсолютное качество.

Загадка предполагает разгадку, и когда загадка разгадана, то всё — история окончена, интрига исчезла. Появляются другие загадки. Загадок много. Но тайна одна — это абсолютная тайна сущего. Поэтому тайна и незаметна, что она обычна и обыденна, что она под рукой, что она во всём. Есть только тайна, а всё остальное — загадка. Сказать, что всё есть тайна (при том, что есть и нетайна), не будет ни тавтологией, ни противоречием, ни абсурдом, но высшим напряжением мысли, в котором произошло прозрение-откровение относительно того, что всё есть, и что всё есть тайна. Что просто есть, а почему есть — не понятно.

Загадки — мелкие недоразумения разума по поводу неизвестного. Но неизвестно *всё*, всё сущее целиком с его судьбой. А судьба — это прошлое, настоящее и будущее воедино. Судьба — это свершение и свершённость, а разве сущее свершилось и может ли когда-нибудь свершиться? И разве может быть известна такая судьба сущего?

Это и есть тайна — всеобщее, абсолютное сущее с его вечной нераскрытостью, с его всеобщей непрояснённой. Ни в жизни, ни в смерти, ни «после» смерти тайна не будет раскрыта. Абсолютность тайны, её неприступность — вечный *принцип Бытия*. Бытие есть именно потому, что это таинственное бытие.

Тайна хранит бытие, как и бытие хранит тайну. И тайна бытия — это его молчание. В молчании бытия происходит хранение тайны.

Лицо

Лицо есть только у человека. Как, впрочем, и голос. Но не совсем верно говорить: у каждого своё лицо, у каждого свой голос. Никакого *своего* лица, как и *своего* голоса — нет. Есть лицо, просто лицо, и только лицо. Этого вполне достаточно. Сказать: «*свое* лицо», — значит умалить тайну лица, его неотмирный блеск и сумеречную суть.

Что значит вглядеться в лицо? Это значит вглядеться в ничто, в бездну, в кружащуюся мглу пустоты. Здесь всё кончается, не успев начаться, и всё-ёначинается, не успев оформиться в ту определённую, глядя на которую можно было бы сказать: «се человек». Лицо слишком бесстыже, чтобы быть носителем целомудрия; лицо слишком лицемерно, чтобы говорить правду; лицо слишком цинично, чтобы быть честным; лицо слишком странно, чтобы вообще что-либо понять по лицу.

Если хотите не узнать человека, то посмотрите в его лицо и удивитесь, удивитесь до бесконечности этому непонятному сочетанию духа и плоти, этой странной и причудливой игре кожи и выражения. Здесь возраст не равен мудрости, а ум — совести, и это очевидно; здесь красота достигается тем, что обычно прячут, а доброта вообще трудноуловима, и здесь бесконечное мерцание тончайших колебаний души, которую никогда нельзя увидеть.

Никогда нельзя поймать саму сущность лица; глаза — не главное, не суть, они никогда не являются центром лица и личности. В лице вообще нет ничего главного, ибо главное всё. Отнимите любую часть лица, и всё кончено.

Более всего смущает и обманывает выражение лица. Особенно интересно лицо безумного и умершего. Здесь сущность, явленная в лице, максимально отдалена от содержания, а значит, нечто достигается. Обычно выражение лица означает глупость или подлость. Через различные выражения лица человек стремится реализовать свои цели, поэтому он «делает» своё лицо. Но поскольку настоящий актёр — довольно редкая вещь, то, как правило, лица у большинства пошлые и вульгарные.

Наиболее недостоверная вещь — это прекрасное лицо, так называемое прекрасное лицо. Здесь, видимо, менее всего собственного присутствия. Как правило, другие назначают то или иное лицо прекрасным, а сам носитель этого прекрасного лица мучается в бесконечном страхе потерять его и перестать быть интересным.

Лицо, в самом общем плане, это способ легального сокрытия своей сущности. Кто это понимает, тот наиболее честен. Тогда у него лицо спокойное и сосредоточенное. Оно выражает минимальное количество эмо-

ций, страстей, то есть лжи и уродства. Нужно так углубиться в себя, чтобы потерять своё лицо, по крайней мере, всякое его выражение. Выражение ничего не выражает. Это мелкое сокрытие своего непонимания.

Лиц вообще много, и можно только дивиться непостижимому искусству Творца, который так умело и причудливо умудрился не повторить ни одного лица, при том, что имеет место пошлое однообразие лиц, так что можно сказать «человек толпы» и не ошибиться.

Всегда неожиданно и страшно любое незнакомое лицо. В публичных местах это скопление пустых лиц невыносимо. Лицо другого человека, человека незнакомого, просто человека, таит столько равнодушия и безразличия, что можно впасть в тоску. Чужое лицо, как мёртвое озеро, чьи тёмные воды отражают вселенский ужас одиночества. Ничто и никто не вызывает такой ужас, не способен так огорчить человека, как безразличие чужого лица. И нужно ждать улыбки, этого непостижимого цветка жизни, так непонятно появившегося в холодной и знойной пустыне человеческого отчуждения.

Когда человек задумался или дремлет, то его лицо — это скала неприступного мира, который так властно и гордо разверзся перед тобой, что ты не в силах преодолеть это бесконечно чуждое пространство. Тайна другого — это неведомые потёмки, которые другой всегда несёт с собой, всё это содержится в лице, в выражении его неприступности, которое часто молнией непостижимого отчаяния полыхает на лицах людей.

Лицо умершего — не предел непостижимости, но предел невозможности. В определённом смысле мёртвое лицо и противоречие и непротиворечие. В плане своей чуждости любое лицо — мёртвое лицо, по крайней мере, содержит в себе мертвинку, но, с другой стороны, лицо — это знак живого. У смерти нет лица, это чёрная дыра безликости, в которой тонут всякие очертания, привычные и непривычные, случайные и неслучайные. А вот мёртвое лицо есть, и что это?

Здесь сталкиваются не просто противоречия, но какой-то, страшно сказать, промах Творца. В тёмном зазоре этого промаха, который есть асимметрия мира, асимметрия на всех уровнях, а значит, источник трагедии мира, всего злого и случайного, всего невозможного и невыносимого, всего несчастья мира, которое несёт сердце человека изначально, так вот, в зазоре этого промаха начинает сиять бесконечность той светлой гармонии и чистоты, которая наполняет мир свежими соками радости, смысла и красоты.

И всё это есть в лице, и только в лице, но не в тексте. Лицо — высший текст, шифрограмма бытия, начертанная языком человеческой радости и страданий. Нет такого текста, который бы смог передать всю бездну бытия, раскрывающуюся в одном лишь взгляде или прищуре.

Но главное в лице — его тайна. Тайна лица в том, что его нельзя увидеть самому человеку, носителю лица. Зеркало, конечно, не в счёт, тем более фотография или скрытая камера. Твоё лицо — это то, что видит только другой. Другой и есть зеркало твоей души, а не твои собственные глаза. Своих глаз ты никогда не увидишь. Стоит на миг посмотреть на себя со стороны или в зеркало — там ты уже совершенно не ты. Там ты, который знает, что на тебя смотрят. А значит, ты перестаёшь сразу быть самим собой и становишься уродливым идеалом самого себя, который никогда не достигим. Вот почему, как правило, не получается хорошо сфотографироваться. И автопортрет — наиболее лукавый жанр в искусстве. Кто решается на автопортрет, у того плохи дела.

Когда ты сам с собою, когда ты наедине с собою, не играешь и не лукавишь, этого нельзя видеть; только другой — свидетель твоего лица. И тайну своего лица ты уносишь в могилу вместе с тайной своего я. Ты сам себе никогда никоим образом не открыт. Ты — нераскрывающийся ящик Пандоры, чей нарциссический экстаз всегда бьёт мимо цели.

Поэтому мы знаем только чужие лица, только чужое лицо нам доступно. Но это чужое лицо чуждо нам вдвойне. Во-первых, в силу того, что оно не наше. А, во-вторых, как мы уже знаем, обладатель этого лица сам от себя скрыт. Он не имеет собственного лица, так как его не видит и не знает. И вот я всегда вижу перед собой дважды чужие лица. Что ж я тогда вообще вижу? И другие видят меня дважды чужим для себя. Что они видят? В конце концов, что же мы видим и что мы делаем, если лица вообще нет в мире? Лицо исчезло. У нас нет лица, ибо мы им не обладаем, а лица других вдвойне чужды для нас, и поэтому наименее пригодны для познания чего бы то ни было, а уж тем более истины.

Да, оказывается в мире вообще нет никакого лица. Что ж есть в мире? Конечно же, не маски, это слишком грубо. Надевать маску можно на себя лишь в том случае, если ты есть ты, если ты себя видишь и знаешь, и вполне уверен, что тебе нужно сокрытие в маске. Но поскольку ты совершенно отчуждён от себя, то о какой маске может идти речь? И маска возможна лишь там, где есть лицо. А где нет лица, то какая тогда маска?

В конце концов лица нельзя ни сделать, ни испортить. Можно только на время исказить. И само время посредством старости искажает лицо. Вот почему так боятся старости, старости как искажения некогда прекрасного лица, которое было подарено молодости, но которое было фантомом, призраком похотливой недалёковидности, так быстро обманувшей незадачливых красавиц. Мудрец понимает, что со старостью не столько прибавляется ума и доброты, сколько не исчезает красоты. И подлинно мудр тот, кто умеет явить свою красоту в старости.

Если лица нельзя ни сделать, ни испортить, то его нельзя и уничтожить. Лицо неуничтожимо, вернее, в лице — наше вечная неуничтожимость,

наша вечность. Только лицо является хранителем нашей вечности, вот почему мы его не видим. Нельзя видеть своего лица, как нельзя видеть взгляда Горгоны, не потеряв при этом себя. Стоящий на страже вечности разве может быть видимым, разве может быть обналичен перед невечным взором? И наша вечная неузнанность, скрытая в невозможности видеть своё лицо, есть единственный, наиболее верный и надёжный знак нашей вечности.

Голос

Можно ли считать голос звуком? Совокупностью звуков? Никким образом. Человеческий живой голос как осмысленное человеческое произношение и речение нельзя считать ни звуком, ни потом звуков. Звук — нечто локальное и эмпирическое, осязаемое, аудируемое, понимаемое. Природа звука всегда понятна. Звук всегда искусственен. Даже звуки «природы» ненатуральны, источник их известен, и легко можно определить качество любого звука.

Но голос не имеет источника. В этом самое главное отличие голоса от звука. Голос — это не голос человека, не голос природы. Голос — это ответ на тревогу мира. Ответ самого мира. Поэтому так странен и непонятен голос, он никак не связан с общим обликом человека. Никогда нельзя связать внешность человека, его нрав и характер, тип его личности с его голосом. Голос человека — всегда потрясение. Он обрушивается из каких-то недр той сущности, которая сокрыта от понимания, от досужих взглядов, ищущих ясности и понятности.

Однако голос — это голос человека, и даже если мы говорим о голосе мира, то это голос, проходящий через человека, через его глубокую глубь. Голос рождается не в человеке, но проходит через человека, свыкаясь с его очертаниями, наполняя его органы своей уникальной вибрацией.

Иногда услышать голос человека — значит разочароваться в нём. Голос может быть так низок, подл и противен, что дискредитирует саму сущность человека, подрывает его человеческое достоинство.

Человек не хозяин своего голоса: он не принадлежит своему голосу, а голос не принадлежит ему. Человек — носитель своего голоса, голос — это его крест, и потеря голоса — во многом потеря своего креста, то есть себя. Нельзя улучшить свой голос, нельзя его изменить; голос можно только потерять. Но потерять навсегда — уже судьба. Немой человек — укор и тайна, превосходящая своей трагической парадоксальностью все «жгучие тайны мира» вместе взятые.

Но потеря голоса не есть избавление от него. От голоса нельзя избавиться, ибо голос не вербален. И у немых есть *свой* голос, это голос вопрошания, который также создаёт своё духовное интонирование в общем

потоке трагического интонирования всех голосов, обращённых к Творцу. В этом смысле голос — это «глас вопиющего», он для разговора с Творцом, для обнаружения своего недоумения, которое более всего может проявиться только в голосе. Поэтому голос — не для общения, голос — для выявления своего места в бытии, своего «звукового пространства», своего «звукового тела». Можно, конечно, сказать, что голос — это «звуковое тело» человека, если бы не казал со звуком.

Мы говорим — приятный голос, противный голос, тихий голос, грубый, нежный, ласковый и т. д. Что мы хотим этим сказать? То, что воздействует на нас как приятное или противное. Но этого мало. Говоря так, мы уходим от существа обладателя голоса. Характеризуя голос, мы никогда не сможем поймать того, кто говорит. Только прислушиваясь к тому, что есть по ту сторону голоса, можно понять суть говорящего.

Проявляется ли в молчании голос? Да, проявляется больше всего. Молчание — это не сокрытие своего голоса, это его абсолютное раскрытие, ибо молчащий выносит свой голос вовне, он его удерживает на кончиках своих пальцев, боясь нарушить целомудренный покой тишины.

Имеют ли умершие свой голос? И как в песне проявляется голос? Не есть ли то и другое искажение сути? Отчасти, ибо умерший не вполне обладатель своего голоса, как и поющий. В обоих случаях происходит временная потеря голоса. Только за умершего говорит одиночество тоски, а за поющего говорит искусство.

Голос может стать большим свидетелем «бессмертия» человека, чем всё остальное. Материально голос может сохраниться в записи и в большей степени напоминать о человеке, чем даже фотография или видеосъёмка. Голос всегда живёт самостоятельной жизнью, он немного потусторонен и мистичен. Вот почему так страшен телефон, и голос по телефону, особенно неузнанный голос в ночи. И вот почему человек всегда так пугается «голосов». Иной раз больше, чем видений.

Крайними проявлениями голоса являются плач и смех. Но их природа слишком темна, чтобы что-то здесь говорить. Можно только сказать, что это искажения «нормального» голоса, психический сбой организма, поддавшегося силе необоснованного аффекта. В плаче — слишком скорбное искажение голоса, в смехе — слишком радостное. Но нет такой радости или скорби, из-за которых можно было бы исказить родниковый хрусталь чистоты голоса.

Есть ещё шёпот, крик и стон. Всё это тоже проявления единого чистого голоса, однако в шёпote он нисходит до крайностей лукавого шпионажа, в крике — до нервного порыва в непрояснённую, а в стоне уводит трезвую мысль на путь мнимого сладострастия, за которым — иллюзия счастья. И в страхе, и в подозрительности, и в наслаждении важно сохранение

своего раз найденного голоса, и только тогда страх будет страхом, а наслаждение — наслаждением.

Что нам делать со своим голосом? Нужно ли его беречь, думать над ним? Стремиться его сохранить или обрести? Обрести его нельзя, ибо он уже есть, дан. Его нужно только распознать в бесконечной и глупой многоголосице, которую нам каждодневно шлёт немая пустота мира.

ТЕНЬ

Можно ли себе представить мир без тени? Чем был бы наш мир, если бы в нём не было тени? Возможно ли вообще некое существование без тени?

Это вопросы могут показаться праздными, даже нелепыми. Однако если взглянуть вглубь самого вопроса и настроить своё созерцающее размышление на соответствующий лад, то вопрос о тени не покажется таким уж пустым и безответственным.

Почему вообще есть тень? Ответ напрашивается очевидный. Но это ответ, пришедший к нам из области физики, из сферы, как говорят, естественнонаучной. Этому ответу можно доверять, а можно и не доверять. Во всяком случае, он не исчерпывает существо вопроса. Есть ведь ещё поэзия, искусство, мистика, где тень играет совершенно иную роль. Здесь вопрос ставится таким образом: каковы метафизические свойства тени? Может ли тень быть самобытным предметом мира или это некий шлейф тёмной пустоты, который сопровождает всякое материальное присутствие в подлунном мире?

Помню одно поразившее меня впечатление раннего детства. Ночь, детская мечтательная бессонница, взгляд блуждает по тёмному пространству комнаты, выхватывая не предметы, но очертания предметов, во тьме существенно поменявших свой первоначальный образ. Это занятное дело прерывается резким потоком света, бьющего из окна внезапным приступом автомобильных фар, и на стене появляется тёмная фигура человека, приближающегося к моей кровати. Тень стала реальностью. По мере её приближения моё сознание теряло всякий смысл, пока не отказалось воспринимать и понимать чудовищный факт вторжения иного в мой интимный и привычный мир.

Первоначальное чувство ужаса, охватившее меня тогда, не могло быть компенсировано никаким здравым смыслом или ссылкой на объяснение, согласно которому случайный прохожий попал в пространство света автомобильных фар, и его силуэт естественным образом отобразился на стене квартиры, в которую этот свет попал. Я точно знаю, что это была не тень от объекта, это был сам объект. Детское сознание нельзя обмануть. Бытие

тени было столь вещественным, что не нуждалось ни в каких доказательствах и объяснениях, как не нуждаются в них наши самые простые восприятия окружающего мира.

С тех пор я стал думать о странных свойствах тени, о её нефизической природе, о том воздействии на творческое воображение, которое она оказывает на людей искусства, наводняющих свои произведения различными образами тени. Тени живут самостоятельной жизнью, они персонифицируются, вокруг них строится сюжетная линия произведения. Тень часто становится мистическим героем, сопровождая повседневную жизнь и наполняя её непереносимым страхом. Не случаен языковой оборот «бояться тени»; наше бессознательное знает, что говорит.

Конечно, более всего страшит и ужасает человеческая тень. Тень дерева, здания, тень машины не так загадочна. С человеком ситуация совершенно иная: его тень — это его потусторонний «двойник», его inferнальное «alter ego», часто живущее самостоятельной жизнью. Но, как ни странно, меня мало удовлетворяли различные толкования природы тени и её зловещего действия в мире. Особенно не нравились мне те интерпретации, в которых говорилось о тайной связи тени с человеком, с его «тонкой сущностью»; более всего раздражали попытки мистических трактовок, следы которых тянулись в загробный мир. Я прекрасно понимал, что это полное непонимание природы тени, за которым стоит полное непонимание природы мира, в котором есть тень.

Немаловажным является то, что в нашем мире всё отбрасывает тень. Человек здесь лишь «вещь среди других вещей», и его тень не имеет привилегии, хотя именно человеческая тень более всего страшит и распаляет воображение.

Не стоит поддаваться псевдомистическим интерпретациям, согласно которым тень — это оптическая глубина мира, необходимая для полноценного художественного творения, вообще для соблюдения верных геометрических пропорций, лежащих в основе мироздания, и не следует принимать ходячие представления о том, что наличие тени в мире — знак духовной порчи, показатель того, что смерть правит бал, а избавление от смерти связано с попаданием в блаженный прекрасный мир, в котором нет тени, а значит, нет зла и смерти.

Истина не в этом. Тень не есть ни необходимая геометрическая оптика, маркирующая трёхмерное пространство, ни эстетическое раскрытие мира, ни проводник в мир иной, в мир мёртвых, ни намёк на торжество зла и смерти в мире. Теневая сторона мира — отнюдь не худшая его сторона. Вопрос в том, имеет ли тень собственное бытие, соизмеримое с иными «вещами» мироздания? Или более весомый вопрос: в чём смысл тени?

Если сформулировать вопрос таким образом, то наш взор будет не исследовать тень саму по себе, изнурая рассудок бесплодными гипотезами,

а будет направлен на мир — на тот мир, в котором мы пребываем. Тень свидетельствует о неких странностях этого мира, о его глубинной тайне. В конечном счёте, физические законы могли бы быть устроены совершенно иным образом, так, чтобы тень не имела места в природе. В тени нет никакой необходимости, это чистая блажь мироздания, дразнящая нас своей непрояснённой свирепостью.

Тень, чье мнимое присутствие с особой силой проявляется в «великий полдень», возвращает нас к самому миру, заставляя более тонко подумать о его сути. Тень — для размышления над тайной мира, которая остаётся нераскрытой всегда. Не имея собственной природы, не имея ни малейшего бытия, тень молча свидетельствует о бытии, о его невозможности и невозмутимости.

ПРЕДВЕЧЕРНЯЯ СКУКА

На исходе зима. Время замерло в тишине природной усталости. После бурных и шумливых празднеств пришла неторопливость; мир как бы на время распрощался с текущими заботами дня и погрузился в себя. Зимнее величие почти сошло на нет, и умирающий снег несвойственной ему серостью даёт понять, что его время ушло. Во всём почувствовалась затаённость.

Взгляд, лениво скользящий по вечеряющим февральским улицам, безразлично выхватывает попадающиеся ему предметы, лица, деревья. Во всём неспешность и размеренность. Случайные громкие звуки не нарушают скучного ритма жизни. Повседневность усыпляет сознание своей обычностью. И вдруг взгляд наталкивается на освещённый предзакатными лучами дом. Кирпичные стены, эти рутинные строения, каким-то неведомым образом преобразились и стали таинственным символом бытия, одновременно указуя и на его загадочность, и на его величие. Что-то вопиюще несовместимое в этой встрече предзакатного света с созданием цивилизации. Тварное и нетварное соединяются в самом, казалось бы, обычном и естественном. Но именно эта обыденность более всего способна подвинуть мысль на размышление о странности бытия.

Сам по себе природный мир не так уж странен. Солнце, освещающее берег моря или само море, — символ величественной красоты мироздания. Взирая на природу в её наиболее чистых формах, таких, как солнце, горы, леса, то есть на природу без человека, на мир без людей, можно прийти, конечно, и к удивлению, но чаще — к восторгу, на который человек способен в своих высших творческих состояниях. Так рождается искусство. Но искусству мы не удивляемся, им мы восхищаемся.

Современный дом — предельное проявление цивилизации. Здесь человеческое в наибольшей степени противостоит природному. И не сознательно человек отделяет себя от окружающего мира растений и животных,

лесов и полей, рек и океанов; это его духовная природа требует, чтобы он организовывал свою жизнь в максимальной непохожести и отдалённости от внешней среды. Потому что человек *не вышел* из природы, он в неё *вошёл*. Неважно, в качестве кого — господина, хозяина, гостя, но он вошёл не в свой мир и в нём строит своё собственное. Поэтому сконструированный человеком мир, вырванный из отчуждённой стихии природного, также не вызывает к удивлению и размышлению; он требует жизни, вернее, проживания в нём, а значит, прагматического, инженерного усовершенствования.

И вот луч заходящего солнца своим неотмирно-жёлтым цветом, предвещающий наступление ночного мрака и заволаживающий сознание своей непонятной чарующей эстетикой, попадает на сделанное человеком. Когда вечное встречается с временным, искусственное с естественным, рукотворное с нерукотворным, то возникает это особое, одновременно вдохновляющее и умиротворяющее чувство тихой тоски. Предзакатное время суток — непродолжительный фрагмент бытия, когда единственно можно уловить ту «глубочайшую странность жизни», которая составляет основу нашего бытия. И не нужно быть ни художником, ни учёным, ни философом, ни поэтом, чтобы, глядя на предзакатный луч солнца на стенах домов, почувствовать, что всё так восхитительно и удивительно, так таинственно и в то же время надёжно. Эта вдруг открывшаяся странность мира не вызывает смятения и бездействия, но даёт ощущение осмысленности и творческого жизненного прилива.

Умиращее солнце, невечная и такая же умирающая жизнь домов — невыразимая тень какой-то тайны, кроющейся за этой потрясающей картиной вечерней скуки.

ЭККЛЕЗИАСТ И НИЦШЕ

Суэта сует и вечное возвращение. За этими метафорами бытия кроется нечто существенное, нечто, что ещё нам предстоит осмыслить и пережить.

Суэта сует не оставляет нам никакого шанса на обретение чего-то нового, на прорыв в области, в которых есть нечто иное, иной порядок вещей, вообще иная жизнь. Иное — новое, новое — иное: вот цепь последований, в которых жизнь размыкает нудную рутину невыносимого стояния времени. И новое — как движение, и иное — как надежда.

А суэта сует — что нового она нам обещает, кроме самой суеты, её вымученной и невыносимо бледной истины вечного повторения одного и того же? Всё дневное разнообразие блекнет перед возможностью его повторения, в котором ужасает само повторение, его бездушно-жестокый механизм.

Словно неведомый палач затянул длинную скорбную песнь неизбежной тоски, которая переполняет сердце, видящее одно и то же солнце, одну и ту же пыль, один и тот же свет, одну и ту же смерть. Коварная и изощрённая жестокость, коренящаяся в механизме повторения, столь же безликом, сколько и бессмысленном. Иного не будет не потому, что его не будет, а потому что его и не должно быть. Суета сует принуждает нас испытать до дна эту чашу вечного повторения, испытать эту бездонную чашу и никогда не насытиться её содержимым, потому что у неё нет содержимого. Одна лишь жажда и вечное неутоление этой жажды — а отсюда и вечное неумирание у родника от жажды, при вечной жажде и при вечной невозможности насытиться до конца, насытиться так, чтобы больше не насыщаться.

Чаша бытия — это неупиваемая чаша нашего горестного существования, в котором процесс насыщения равен нашему непониманию и отчаянию от этого непонимания. Суета сует обрекает нас на придорожную пыль, в сумрачной лазури которой мы лишь видим тени умерших и нерождённых. Что день грядущий нам несёт? В свете суеты сует — ничего, совсем ничего. Лишь тягостное повторение одного и того же, уже данного, уже имеющегося, уже существующего.

И свет солнца в свете суеты становится темнее ночного мрака, и утро дня как будто не утро дня грядущего, то есть дня жизни, а как бы край чёрной бездны, в котором всегда какое-то тягостное и неведомое ненастье. И одиноко виснут небеса над головой, словно это не лёгкая лазурь, а колодец тоски, уходящий в бесконечную высь пустоты. И тихо бредут одинокие и обречённые путники, как тени из странного и забытого сна, в котором только боль одиночества и надрывный плач брошенного.

Суета сует в своём предельном звучании-значении означает: больше не будет ничего. Это страшные слова, если учесть неистребимую человеческую страсть к новизне. Что было, то и будет. Словно приговор неведомого и злого бога камнем чёрного проклятья повис над человечеством и навечно свернул все перспективы, всю радость горнего простора, всю сладость небес, так заманчиво обещающих бесконечный восторг нового дня и бесконечное благоухание новой ночи.

Но нет, ничего этого нет. Всё это сладкозвучная романтика слабого сердца. Есть только суровый реализм вечного повторения одного и того же, того великого полдня, который, как скала рухнувшей надежды, придавил нашу радость чёрной глыбой несбывшейся судьбы. И только отчаянные попытки стремиться куда-то ещё, к чему-то ещё, только надежда и вера, только отчаяние в результате.

И вот наше отчаяние иногда приобретает форму стремления к власти, стремления к истине или стремления к отрешению и вечному покою. Суета, как небесная пыль всесилія, покрывает наше усталое чело, и мы покоряемся суете как истине. И видим в этом мудрость.

Но так ли мало нам дано в этой суете и в этом повторении одного и того же?

Это не только придорожная пыль и скучная тропа, ведущая в потёмки старинного леса, это не только зимняя стужа и леденящий воздух гор, это не только бескрайняя кайма лазоревое моря с его неизмеримыми глубинами и диковинными тварями, это не только люди во всём разнообразии черт и народностей, во всём блеске языков и религий, это не только цепь истории, уходящая в неведомую глубь времён, коим несть конца, это не только улыбка младенца и плач старика, сладострастный вздох ночной красавицы и крик чёрной птицы в ночи, рокот ветров над пустым оврагом июльского зноя и песнь пахарей в ложине страха, заботы матери о пропитании осиротевших детей и радостный пляс свадеб... Нет, не только это. Всё это есть, и всего этого мало, потому что это всегда есть и всегда будет.

Но разве этого мало, почему всегда всего этого так мало?!

Вот он ужас суеты сует — просто существование, существование как таковое, в его могучей и мрачной тайне. Само существование молчит, оно только существует и как-то дремуче скрывает свою тайну от любопытных взглядов взыскующих истины.

Тишины и покоя своего вечного существования ищет существование и всегда его находит, а человек говорит — суета сует и вечное возвращение, и ищет Бога и Сверхчеловека. Но существование мудрее Бога и человека, только существование существует, — его тёмная и прочная тайна есть тайна дня и его полдня, тайна ночи и её темноты.

Суета сует — и горькое отчаяние унывшего духа, духа, унывшего от того, что есть, от того, что с нами, при нас, что всегда у нас под рукой. Но не странно ли не хотеть единственного — единственного мира, пускай в его сумрачной и пыльной однообразности и скуке, в его открывшейся бессмыслице и абсурдности?

Пускай всё это так, что ж с того? Ведь это единственная открывшаяся даль, причём не только даль внешнего простора, но и даль унывшего духа, что внутри нас. Не Царство ли Небесное внутри нас? Пока там уныние и тоска однообразия, но это бездна духа, его великий вечный полдень, его скорбно-радостное стояние.

То, что *есть*, открывается нам в форме суеты и вечного возвращенья. Не это ли радость, не это ли истина, понять которую значит понять то, что есть. А ведь есть всё. Всё то, что нам необходимо для существования и надежды, для веры и покоя, для любви и страдания, для искания и обретения, для жизни и смерти. Для жизни — не значит только для жизни, но и для смерти. Для смерти — не значит только для смерти, но и для жизни. Но и жизнь и смерть для суеты сует, которая выше жизни и смерти, и для вечного возвращения, в котором мы и обретаем, вечно обретаем свою вечную сущность.

Истина существования — в его суете и вечном возвращении.